

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

---

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Дмитрий Васильевич Григорович

**Бобыль**

**Дмитрий Григорович**

**Бобыль**

*Суд наедет, отвечай-ка, С ним я век не  
разберусь!*

А. Пушкин

Темная осенняя ночь давным-давно окутала сельцо Комково. Погода стояла бурная, ненастная; мелкий дождь падал пополам с снегом; холодный ветер гудел протяжно в отдаленных полях и равнинах... Но буря, слякоть и темнота нимало не вредили приходскому празднику в сельце Комкове, и гулянка, которой год целый ждали обыватели, была в полном своем разгаре. На улице толпилась тьма народу. Со всех сторон слышались нестройные песни, восклицания, говор, хохот; правда, время от времени их заглушал суровый голос бури, которая с ревом и свистом пробегала по обвалившимся плетням и лачугам, но тем не менее песни и крики раздавались громче и громче, когда ветер пронесся мимо и буря на минуту стихала. Почти в каждой избушке светились огоньки, и длинная нить их, отражавшаяся багровыми полосами в лужах, давала знать, что и внутри домов точно так же продолжалась пирушка.

Словом, жители Комкова веселились и гуляли на славу.

Но тогда как веселье так единодушно обнаруживалось с одного конца деревни до другого, в доме самой помещицы было что-то особенно спокойно и тихо. Распутица ли помешала соседям съехаться по обыкновению к Марье Петровне, ненастье ли или другое что, а только она сидела этот раз почти без гостей. Общество составляли всего-навсего – бедная вдова, поручица Степанида Артемьевна, проживавшая в доме третий год в качестве «приживалки», и еще ближайшая соседка Марьи Петровны, Софья Ивановна, или просто «Иваниха», как называли ее крестьяне. Все три дамы расположились в небольшой уютной комнатке, выходявшей на улицу.

В углу, подле незавешенного окна, сидела особнячком Степанида Артемьевна и вязала чулок; против нее на столике стояло все нужное для чаю. Огромный неуклюжий самовар из красной меди, занимавший чуть ли не половину стола, пыхтел и отдувался, как толстяк, обремененный тяжкою ношей, в знойное время; из него валили, клубясь и журча,

густые струи серого пара, то направляясь на соседнее окно и обдавая его крупными каплями, то вдруг обращаясь косою полосой на сальный огарок, находившийся тут же, между чайником и чашками.

При таком неожиданном нападении со стороны соседа огарок бросал еще более сомнительный свет на поручицу, женщину с наружностью жесткой и деревянной, одетую, как вообще все вдовствующие поручицы-приживалки, в глубокий траур. Другие две дамы сидели поодаль от окна, у лежанки. Красное пламя жарко топившейся печи не только позволяло различать их лица, но даже обозначало на стене длинные, угловатые профили собеседниц. Одна из них, хозяйка дома, была подслеповатая маленькая старушонка, с лицом кротким и добродушным, напоминавшим скорее, однако ж, безответную простоту, чем первые два качества. На ней был черный поношенный платок, черный ситцевый капот с белыми крапинами и жиденский чепец с темными лентами, находившимися постоянно в каком-то лихорадочном состоянии, вопреки неподвижности самой владелицы; это

происходило оттого, что головка старухи, и без того уже слабая, приняла дурную привычку трястись с тех пор, как раз ночью испугали Марью Петровну, объявив ей, что в Комкове загорелась баня. Наружность Софьи Ивановны представляла самую резкую противоположность с наружностью ее соседки. Ясно, что эти крутые багровые щеки, готовые лопнуть каждую минуту вместе с серыми глазами навывкате, этот узенький лоб, сплюснутый нос и темные волосы без проседи, несмотря на пятидесятый год, могли только принадлежать бойкой и энергичной женщине. Все три дамы хранили глубокое молчание. Тишина в комнате прерывалась лишь треском и щелканьем печки, метавшей на пол искры, и пискливым напевом самовара, которому вторило иногда недовольное ворчанье собачонки, лежавшей на диване, за спиной помещицы. Извне слышался отдаленный гул толпы, бродившей по улице; время от времени гул этот как будто приближался и, смешавшись внезапно с свирепым завыванием ветра и шумом дождя, посылаемого в окна, производил такой грохот, что даже канарейка, сидевшая

нахохлившись в клетке над головою поручицы, вздрагивала, высовывала из-под крыльшка голову и начинала отряхиваться.

– Цыц, Розка, – говорила тогда Марья Петровна, обращаясь к собачке, которая принималась неистово лаять, – цыц! Господи благослови, – продолжала она, – с ума они сошли, что ли? того и смотри деревню сожгут... Степанида Артемьевна, посмотрите, матушка, в окно, уж не случилось ли чего?...

Тут Марья Петровна поворачивала с беспокойством худощавое лицо свое к окошку и крестилась с особенною выдержкою.

– Не видно ничего-с, – отвечала приживалка, обтирая рукою мутное стекло, – все окно доверху занесло снегом-с.

– Эх, матушка, Марья Петровна, охота же вам, право, допускать такие буйства, – произнесла Софья Ивановна грубым голосом, соответствовавшим как нельзя лучше ее дубовой наружности, – смотрите, когда-нибудь наживете себе беду с вашей добротой; уж когда-нибудь да сожгут вам ваше Комково ваши же мужики!...

– Пресвятая богородица, божья мать, свя-

той Сергей-угодник... ох!... моя Анюточка-покойница (царство ей небесное!) к нему прикладывалась... – простонала жалобно хозяйка, возводя очи к потолку и принимаясь снова креститься.

– Да, конечно, сожгут вам деревню, – продолжала соседка, – если станете попускать такие буйства и бесчинства; время же стоит почти всякий раз в этот день, как нарочно, ветреное; разумеется, дело осеннее, долго ли до беды!

– Ох! да что ж мне делать-то с ними, Софья Ивановна?...

– Как что делать, матушка? вот славно! Да кто же здесь госпожа? Сказали: не хочу, не сметь, мол, вам буйствовать! да и пострадать хорошенько, вот и будет все в порядке; а то, право, долго ли этак до греха... слышите сами, какой ветер?., слышите?...

Софья Ивановна наклонила набок голову, Марья Петровна и поручица последовали ее примеру.

Пронзительный ветер люто завывал вокруг всего дома, потрясая ставни и выступы; дождь стучал неумолимо, то глухо ниспадая

на кровлю, то барабаня по окнам.

– Ох, сколько, я думаю, Софья Ивановна, бездомных-то сироточек идут теперь по миру в такую-то погодушку, – промолвила после молчка Марья Петровна, – и пристанища-то у них, бедненьких нету...

– А вам бы их небось всех к себе заманить хотелось? Много их, матушка Марья Петровна, – на всех богадельни в вашем Комкове не построишь, да и капиталу-то не достанет. Знаете ли, чем нам об этом сумлеваться, погадайте-ка лучше опять в карточки...

Слова эти произвели магическое действие на старушку; лицо ее, обыкновенно безжизненное, осмыслилось вдруг выражением живейшего участия; даже что-то вроде улыбки показалось на иссохших губах ее. Нужно заметить, что она слыла во всем околотке мастерицею гадать в карты, и в этом сосредоточивалась вся деятельность, все самолюбие доброй Марьи Петровны. Она с самодовольною улыбочкой взяла со стола замавленную колоду, стасовала ее и, потрянув быстрее обыкновенного головкой, сказала поручице: – Степанида Артемьевна, поставьте-ка, голубушка,

к нам огарок да присядьте сами сюда.

Приживалка зажгла, однако же, другую свечку, поставила ее перед помещицею и, не отвечая ни слова, уселась на прежнее свое место. Профили старух еще значительно вытянулись и расширились на стене: голова Софьи Ивановны приняла вид исполинской тыквы; нос Марьи Петровны вытянулся и заострился так немилосердно, что достигнул до чайного стола, так что при малейшем движении пламени, казалось, он клевал прямо в сахарницу, а иногда зацеплял даже за чепец поручицы, принявшейся снова за свой чулок.

– Вам, Софья Ивановна, я знаю, верно, на червонную даму... вы всегда на нее загадываете? – спросила старушка, утвердительно кивая головою.

– Ну, хорошо, ставьте хоть на червонную, – отвечала та, придвигаясь ближе.

– Уж как хорошо выходит, – говорила помещица, между тем как худощавые ее пальцы так вот и бегали по столу, – уж как хорошо... интерес, да, от трефового короля получите большой интерес... постойте, что это? Да, – продолжала она, задумчиво потирая лоб, –

препятствует какая-то белокурая дама, довольно пожилая...

– Гм! белокурая! кто же, однако ж?... ну, что же еще?

– Письмо получите из дальней дороги, вести, вот видите ли, дорога?., постойте... вот тут как будто болезнь, но небольшая, так, простуда какая-нибудь легонькая... но вообще все очень, очень хорошо; интерес, большой интерес от трефового короля получите...

– Марья Петровна, Софья Ивановна, – перебила сухо поручица, – не будете больше кушать чаю? я прикажу снести самовар...

– Погодите, Степанида Артемьевна, может, Софье Ивановне угодно будет выкушать еще чашечку...

– Нет, матушка, благодарствуйте, я уж и так по горлышко... больше не могу...

В эту самую минуту на улице раздался такой неистовый грохот, что все три дамы разом вздрогнули. Почти в то же время подле окна, где сидела приживалка, послышался протяжный вой собаки; он начался тихо, но потом, по мере возвращавшейся тишины, вой этот поднялся громче и громче, пока наконец

не замер с последним завыванием ветра. Собачка, лежавшая на диване, на этот раз не удовольствовалась ворчаньем: она проворно прыгнула наземь, вскочила на окно и принялась визжать и лаять, царапая стекла как бешеная.

– Цыц, Розка! цыц, Розка! – болезненно простонала испуганная Марья Петровна, – ох! что это в самом деле? слышите, душенька Софья Ивановна, как на дворе собака-то воет, и ведь не в первый раз, уж не к покойнику ли?...

– Ну вот еще, – возразила ее собеседница, – у вас все на уме такое... просто воет себе собака.

– Ох, – начала снова Марья Петровна, крестясь и возводя очи к потолку, – божья мать, святой Сергей-угодник, моя Анюточка-покойница (царство ей небесное!) к нему прикладывалась... Степанида Артемьевна, да отгоните же Розку, ишь как она мечется, того и смотри окно прошибет.

Поручица бросила с сердцем чулок, крикнула на собачонку и, бормоча что-то сквозь зубы, вышла вон. Минуту спустя в комнатку

вошла высокая рябоватая белобрысая девка; она подошла к самовару и стала убирать чашки.

– Палашка, – сказала помещица, – какая у вас там собака воет? весь вечер покою не дает...

– Змейка, сударыня, – отвечала Палашка, глядя исподлобья, – у ней щенят вечор покидали в реку... так, должно быть, и воет... Мы ее отгоняли от крыльца, да никак не сладишь с проклятой-с.

– Ох уж мне эта собака! Представьте, какой случай с ней был нынешним летом: взбесилась да Фетиске, кучерову сыну, всю икру искусила... уж как же она меня тогда напугала, сказать вам не могу...

– Чем же вы его вылечили, Марья Петровна?

– Обыкновенно чем, всегдашнее мое средство: сначала мышьяком присыпала... а потом давала ему пить по три раза в день подорожника листочка...

– Напрасно вы это делали, только лишняя трата вам... Если хотите, я вам скажу другое средство... и гораздо дешевле; мне переда-

да его по секрету одна дама... да я, уж так и быть, не утаю от вас, для милого дружка и се-режка из ушка... вы же много больных лечите, вам оно пригодится.

– Ах, матушка Софья Ивановна, уж как же вы меня много обяжете... вы не поверите, сколько мне стоят эти лекарства; поверите ли, ведь из чужих деревень приходят; разумеется, больной принесет из благодарности то яичек, то рыбки, то медку, да господь с ними, я ведь ничего не беру, народ бедный, а денежки-то всё идут да идут...

– Вот то-то и есть, – перебила соседка, – слушайте же, что я вам скажу. – Тут она придвинулась еще ближе и примолвила с таинственным видом: – Как у вас придется еще такой случай: укусит кого-нибудь бешеная собака, вы возьмите просто корку хлеба, так-таки просто-напросто корку хлеба, напишите на ней чернилами или все равно, чем хотите, три слова: Озия, Азия и Ельзозия», да и дайте больному-то съесть эту корку-то: все как рукой снимет.

– Неужели правда? – воскликнула помещица, всплеснув руками.

– Да вот как, – отвечала скороговоркою Софья Ивановна, – та, которая передала мне этот секрет, сказывала, что пятерых сряду вылечила этим средством.

– А, матушка, как же я вам благодарна; сами знаете, мышьяк дорого стоит, да еще и не скоро достанешь его... уж так-то я вам благодарна, так благодарна...

– Очень рада, Марья Петровна, очень рада... ну, так как долг платежом красен, говорят добрые люди, и у меня также найдется к вам просьбица...

– Что такое?...

– Вот что: вы картофель нынче сеяли?

– Сеяла, Софья Ивановна, и такой-то крупный уродился, благодарение царю небесному...

– В таком случае попрошу я у вас без зазрения совести, просто без зазрения совести, мерочку на мою долю: я не сеяла.

Софья Ивановна проговорила все это с той приятной шутливостью, под видом которой люди, думающие бить наверняка, делают самые нахальные просьбы. Помещица с радостью изъявила готовность пособить горю со-

седки.

– Экая память, право, у меня, – вымолвила она после минуты раздумья, – вот ведь я уж и забыла, что вы мне сказали... что, бишь, писать-то надо такое... зо... за... за... как, бишь, это?...

– Азия-с, Озия-с и Ельзозия-с, – отвечала соседка наилюбезнейшим образом, – да вам бы лучше записать на бумажке...

– Да, да, и то правда... Степанида Артемьевна, – сказала она входившей в это время поручице, – дайте. Матушка, чернильницу и календарь...

Исполнив просьбу, приживалка сердито сняла со свечки, пошевелила узенькими своими губами и села к окну. Помещица записала рецепт и, как бы утомленная такою продолжительною работой, прислонилась к спинке дивана. В маленькой комнатке вновь воцарилось глубокое молчание, прерываемое по-прежнему ворчаньем Розки, шумом бури, а иногда песнями и криками гулявших комковцев.

Минут двадцать спустя в комнату вошла рябая Палашка, сопровождаемая скотницей

Феклой. Последняя выступила с озабоченным видом вперед и, поклонившись барыне в пояс, возвестила, что пришел какой-то старик на скотный двор, пришел да и сел на порог, стонет да охает да госпожу видеть просит.

– Уж так плох, матушка-барыня, так плох, – присовокупила скотница, качая головою, – лица на нем, сударыня, нетути; и ничего-то не молвит, только что охает, так-то охает, что беда-с; больно хил, сударыня; побоялась я оставить его до завтра, народу в избе нет, на праздник ушли... я и пришла доложить вашей милости...

– Пресвятая богородица, заступница наша! – произнесла после тяжелого вздоха помещица, – ох, должно быть, больной какой-нибудь, бедняжушка! Сейчас, Фекла, сейчас иду, подожди меня в «аптеке»...

– Что это вы, Марья Петровна, – воскликнула Софья Ивановна, удерживая ее за руку, – уж не хотите ли идти в такую пору, в такое ненастье на скотный двор? помилуйте, Христос с вами! что вы делаете?...

– Нет, отпустите меня, душенька Софья Ивановна, – возразила старушка, – у меня и

сердце не на месте...

– Так вот нет же, не отпущу.

– Нет, отпустите, душенька, право, сердце не на месте; пойду погляжу... может, помощь нужна скорая...

– Ну, вот, уж и скорая – да не умрет, не бойтесь; должно быть, у вас же на деревне употребляли его, дело праздничное, вот и все тут...

– Нет, все равно, душенька Софья Ивановна, а я пойду к нему, все спокойнее на сердце-то будет.

Сказав это, старушка поспешно вступила в комнату еще меньшего размера, увешанную с потолка до полу пучочками сушившихся трав. Тут также находился старинный, вычурный шкаф; сквозь стекла его можно было различить легионы пузырьков, баночек, скляночек и ярыльков – это была «аптека» помещицы. Марья Петровна немедля натащила на ноги теплые валенки, закуталась

в старый салоп на заячьем меху, намотала на шею платок и, сопровождаемая Феклюю, державшею фонарь, отправилась на скотный двор.

– Сюда, сюда-с пожалуйста, матушка-бары-

ня, – твердила Фекла, поддерживая одною рукою барыню, другою освещая ей дорогу, – не оступитесь, матушка-барыня, извольте вот сюда пожаловать, ишь лужи какие...

– Святой Сергей-угодник, – твердила жалобно Марья Петровна, шлепая по грязи, – ох! чуть было не оступилась...

– С нами все святые! – присовокупила скотница, удваивая старания, – долго ли до беды... ишь, ветер какой, так с ног вот и ломит... да снег-то глаза залепляет... пожалуйте сюда-с... здесь будет посуше...

Вскоре своротили они за дом. Скотница направила фонарь прямо по долони через длинный барский двор, и обе пустились по этому направлению.

С улицы все еще слышались крики и песни неугомонных комковцев» там и сям за заборами, сквозь темноту мерцали огоньки, показывавшие, что пирушка и не думала умолкать.

Наконец Фекла подвела свою госпожу к скотному двору – мрачной избе, обнесенной с трех сторон навесами. Посоветовав Марье Петровне не трогаться с места, чтобы не быть

вымоченной дождем, шумно ниспадавшим с навесов, баба устала фонарь в грязь и приблизилась к зданию; тут она неожиданно загремела щеколдой, отворила узенькую дверцу, снова подняла фонарь и осторожно ввела барыню в большие черные сени, где вместо пола служила твердо убитая земля.

– Не оступитесь, матушка-барыня, – говорила Фекла, – он тут того и смотри где-нибудь да на полу валяется; как пошла-то я к вашей милости, лежал он на пороге...

В сенях, однако ж, никого не было, и помещица, ступая осторожно в багровом кругу света, бросаемого фонарем, вошла в избу. Совершенная тишина царствовала повсюду; в избе было темно, хоть глаз выколи; острый запах дыма свидетельствовал, что лучина незадолго угасла. Когда фонарь осветил жилище Феклы, взоры помещицы встретили прежде всего одни голые бревенчатые стены и угол закопченной высокой печки; но потом, когда она обратила глаза назад, ей представилась в тени чья-то фигура, полулежачая, полусидячая на полу, покрытом редкой соломой.

– Посвети поближе, Фекла, – вымолвила

смущенным голосом помещица, принимаясь креститься под салопом.

Фекла вынула из фонаря оплывшую свечку и поднесла ее почти к самому полу. Марья Петровна явственно увидела тогда при желтоватом, трепетном свете огарка длинный, костлявый образ старика лет восьмидесяти. Продолговатое, правильное лицо его, обрамленное реденькими сероватыми волосами, мягкими как пух, склонялось на узенькую сухощавую грудь, еле-еле прикрытую дырявой рубашкой, из которой выглядывали также тщедушные плечи и локти. Рубашка была мокра до последней ниточки; казалось, все члены старика съезживались под ней как осенние листья, прохваченные морозом. Черная тень, спускаясь от сухого подбородка прямо на середину груди, скользила по ней угловатою, глубокою извилиной и выказывала еще резче ее худобу и впадины; но, несмотря на некоторую резкость, придаваемую чертам этого человека его чрезмерною худобою и грубыми пятнами света и тени, лицо его сохраняло выражение самое кроткое и тихое; даже запекшиеся, побелевшие губы дышали тем невыра-

зимым добродушием, которое как бы просвечивалось во всей его наружности. Старик, как уже сказано, лежал на полу; костлявое туловище его, слегка приподнятое локтем правой руки, бросало густую тень на стену и лавку, в которую упирались его длинные ноги, перепутанные онучами. Левая рука бедняка безжизненно покоилась на жиденькой холстяной суме в заплатках и поношенной шапке. Последние два предмета обозначали на полу следы воды, которою были пропитаны.

Страдальческая наружность бедняка, возбуждавшая невольное сочувствие, успокоила мало-помалу Марью Петровну. Она нагнулась и сделала шаг вперед. Старик, узнав в ней тотчас же барыню, хотел было привстать; но усилие его оказалось бесполезным, и он снова опустился на локоть. Подняв дрожащую руку на грудь, он устремил на нее мутные глаза свои и сказал с сильною одышкой:

– Простите, матушка... встать-то не смогу никак, не взыщите... сударыня... силой-то больно плох стал.

– Не надо, не надо, – торопливо проговорила Марья Петровна, – ничего, лежи, стари-

чок... лежи; что с тобою? чем ты болен?

Старик опять попробовал было приподняться, закашлялся и вымолвил, останавливаясь почти на каждом слове:

– Грудь одолела... ломит все... матушка... ходить не дает... Одышка тяготит больно меня... Уж пятый месяц так-то бьюсь с ней... сударыня...

– Что ж ты, застудил ее, что ли?

– Нет, матушка, – продолжал бедняк, опуская в изнеможении голову, – не застудил ее... зашиб добре...

– Э, да как же это случилось?

– Я кровельщик... сударыня; у нас в вотчине... мельницу ветряную ставили... Народ-то все молодой... меня и послали... кровлю свести, вишь, понадобилось... Время-то ненастное стояло... по весне было, матушка... Я и скатись с нее... да вот грудью-то и упал на бревна... Ох!... С той поры так-то вот все и бьюсь... с ней...

– Э-э-э, старичок, – перебила Марья Петровна, жалостливо качая головой, – да тебе бы тогда надо было кровь пустить или сходить тотчас же в город к лекарю...

– Был, матушка, – отвечал старик ослабевшим голосом, – да не приняли... Места, вишь, в ту пору не было... О... ох!...

Усилия, какие употреблял бедняк, чтобы говорить с помещицей, казалось, превышали его силы; едва произнес он последнее слово, как звук уже замер на устах его, одышка и хриплый кашель, которому конца не было, совсем одолели старика. Внезапно лицо его искривилось, руки брякнули оземь, и он покатился на солому.

– Воды! Фекла, скорей воды! – завопила Марья Петровна, мотаясь как угорелая. – Господи боже мой! Заступница наша, пресвятая богородица... Скорей, Фекла, спрысни ему лицо... Господи, что с ним такое?

– Ох, матушка-барыня, – твердила не менее испуганная скотница, поливая без милосердия голову старика студеной водой, – с ним это не впервые... как только пришел он сюда, тоже вот такое попритчилось... Ох! чего доброго, помрет еще, пожалуй... Спросить бы его, барыня, откуда он... все бы, кажись, не так опасно... Эка беда какая!...

В это время старик глубоко вздохнул, от-

крыл глаза и медленно начал приподниматься; он как будто соvestился оставаться в таком положении при барыне.

– Откуда ты, старичок? – спросила Марья Петровна, трясая головою сильнее обыкновенного.

Старик тотчас же заметил выражение беспокойства на лице барыни; он, вероятно, также понял причину ее опасений и вместе с тем все, что ему угрожало в таком случае. Стараясь по возможности придать лицу своему бодрое и спокойное выражение, он произнес с меньшею, однако, против прежнего твердостью:

– Вот, матушка, как словно теперь полегче стало... Со мной так-то бывает... Оно ничего, сударыня... ничего... не откажите только своею милостию... не гоните меня без помощи, как другие. (Тут он устремил на нее умоляющий, влажный взор.) Оно ничего, матушка, прошло, ты не бойся... на силы-то больно я понадеялся... прошел добре много, сударыня...

– Да ты откуда? – спросила Марья Петровна.

– Я-то? – простонал старик.

– Да, из каких ты мест?

– Издалече... верст за девяносто...

– Чьих господ?

– Бакушиной... Анастасии Семеновны... матушка...

– Э-э-э, – перебила Марья Петровна, потряхивая головой, – экой ты какой, старичок, право! да тебе бы лучше подождать в городе, пока место в больнице не очистилось...

– Я и сам думал, сударыня, – заметил старик, – да сказали: долго придется так-то ждать... Я и пошел опять в деревню...

– Оно бы лучше было, хоть в деревне бы дождался... в больнице тебя бы, наверное, вылечили...

– Не у кого было, сударыня, жить в деревне-то, – отвечал со вздохом бедняк, – землицы и избенки нету у меня, матушка... Я по старости с пашни-то уже девятый год снят... затяглым считаюсь... семьи нет, одинокий...

– У кого же ты жил?

– Да у своего же мужичка... на хлебах... Подсоблял ему кое-что править... пока господь сил не отнял... Он меня и кормил, матушка... Ну, как сил-то не стало, случилась со

мною беда-то, расшибся, пришел ему в тяготу... Он кормить-то и не стал меня... Вестимо, в чужих людях даром хлеба не дадут...

– Так неужто у тебя никого нет из родни в деревне?

– Есть, матушка... дочка есть... – отвечал он, оживляясь, – да только не в деревне у нас... За садовником она, в тридцати верстах отселева живет... К ней-то я, сударыня, и пошел, и лето, почитай, все у нее прожил... да так же, сударыня, люди они бедные, – прибавил он после вздоха, – в тягость я им пришелся... Они-то не сказывали, да вижу сам, невмочь им стало кормить меня, старика... я и пошел побираться... Вот в Заполье ономясь проведаль я про твою милость... и пришел к тебе... да, видно, чрез силу шел-то, время холодное, ненастье такое... мне хуже и стало... Не оставь, матушка, меня своею милостью... век буду за тебя молить бога; мне у тебя здесь так-то хорошо... изба теплая... совсем обогреюсь... не оставь... родимая...

– погоди, погоди, бедный старичок, погоди, – сказала Марья Петровна, – отдохни здесь, сейчас пришлю тебе лекарства... На-

пьешься горяченького, и груди легче станет... и мази также пришлю тебе...

Старик не отвечал ни слова, но взгляд, брошенный им на барыню, передавал его благодарность лучше всякой речи. Марья Петровна и Фекла, успевшая уже в это время воткнуть огарок в фонарь, вышли из избы.

– Ну, что у вас там такое случилось? – спросила Софья Ивановна, встречая соседку в «аптеке». Что это за старик?

– Ох, душенька Софья Ивановна, лучше и не спрашивайте! – могла только проговорить помещица. – Ох! представьте, – продолжала она, разводя руками, – какой-то старик, старый-старый, пришел за девяносто верст в эту погоду, и уж чуть-то живехонек... Грудь расшиб, бедненький, с мельницы упал... Ох! не знаю, право, чем бы ему помочь... бузины разве с шалфеем сварить... пусть напьется горяченького, оно смягчит, а потом велю Палашке натереть ему грудь оподельдоком... как вы думаете?

– Смотрите, Марья Петровна, не нажить бы вам бед с вашими лечениями! Сами же говорите, что старик этот чуть живехонек... Ну, а

как он вдруг да отдаст у вас богу душу, умрет, что вы думаете? Знаете ли, какое это дело? Да тут от суда не отделаешься. Разве не слышали, каких хлопот нажил себе чрез такой же точно случай Егор Иванович Редечкин третьего года?... Христос с вами, Марья Петровна, что вы делаете?...

– Ох, Софья Ивановна, не пугайте меня, душенька, у меня и так сердце не на месте! – воскликнула в страхе старуха. – Палашка! Палашка! поди сюда, дура, влезь поскорей на стул да сними вон с того шестка два пучочка травы... Ну, беги теперь в кухню, спроси медный чайник у Прасковьи и неси его в ту комнату... Что, печка еще топится?

– Топится.

– Ну, хорошо; так беги же, смотри, скорей... Напою его, Софья Ивановна, тепленькой бузиной, авось господь не попустит такой беды...

Минуту спустя Марья Петровна сидела перед печкой, заставляя рябую Палашку мешать целебные травы и в то же время твердя молитвы. Софья Ивановна вместе с поручицей, все еще вязавшей чулок, расположилась подле нее. Первая не переставала повторять

соседке свои опасения, подтверждая их каждый раз случаем с Егором Ивановичем Редечкиным.

А между тем буря по-прежнему свирепствовала на улице, ветер жалобно завывал вокруг всего дома и дождь безмилосердно барабанил в окна; заунывный голос Змейки также иногда раздавался за окном, вторя мрачному напеву бурной осенней ночи... Вода в чайнике начинала уже закипать, когда в комнату неожиданно вбежала Фекла; комки мокрого снега, покрывавшие голову и плечи бабы, свидетельствовали, что она не подумала даже второпях отряхнуться и обчиститься в сенях; лицо ее изображало сильную тревогу. Марья Петровна, увидя ее, раскрыла рот, глаза и осталась как окаменелая в этом положении; Софья Ивановна одна не растерялась.

– Что ты? – спросила она, поднимаясь на ноги. – Верно, что-нибудь случилось?...

– Беда, матушка-барыня! – проговорила скотница, размахивая руками и посылая при этом случае брызги воды на обеих старух. – Старик-ат никак совсем отходит!...

– Божья мать, святой Сергей-угодник... –

простонала наконец помещица.

– Ну, Марья Петровна, не говорила ли я вам, что это будет? – произнесла торжественно соседка.

– Ох, что ж мне с ним делать?

– А вот что, – вымолвила опять Софья Ивановна, энергически махнув рукой, – по-моему, просто-напросто прикажите-ка скорей отвезти его на дорогу, да пусть идет себе умирать куда хочет!...

– Вестимо, матушка-барыня, – возразила Фекла, полаивая барыню, как из лейки, – оно что про то говорить, время ненастное, да все же лучше отослать его от греха...

– Видите, Марья Петровна, – перебила соседка, – вам даже это говорит простая мужичка... что вы делаете? Помилосердитесь... послушайте меня... я вам добра желаю... Посудите сами, время праздничное, подумают еще, как следствие затеется, что его здесь и убили у вас; прикажите его, говорю вам, отвезти скорее, бог с ним, своя рубашка ближе...

Марья Петровна минуту целую ничего не могла отвечать; глаза ее были устремлены на лампадку, висевшую в углу перед образом, и,

казалось, все существо ее переселилось мысленно на кончик светильни. Наконец она обратила добродушное лицо свое к Фекле и сказала более твердым голосом:

– Беги скорее к старосте, скажи ему, чтобы велел запрячь тележку да отвез бы старичка куда ему надо... ох! Да вели ему дать, бедненькому, пирожка на дорогу... Пстой, вот я волю в посудинку бузины... пусть прежде напьется хорошенько горяченького... Палашка! Вынь ей также белый хлебец из кладовой... а ты, Фекла, ступай сюда (тут она ввела бабу в «аптеку»), на тебе мазь, скажи ему, чтоб натирал грудь утром и вечером... Ох! С нами крестная сила!... Ну, ступай, ступай... Господь с тобою!...

Получив, что следовало, Фекла заблагорасудила наперед всего забежать домой и поглядеть на старика. Она увидела его распростертого, как прежде, на полу без малейшего признака жизни.

Заметив, однако ж, после внимательного рассмотрения легкое колебание рубашки на груди страдальца, она перекрестилась, поставила фонарь и ношу свою на окно и сломя го-

лову кинулась к старосте.

Изба Демьяна была полна народу и, прежде чем Фекла достигла «красного угла», где дребезжал, как струна бойкого шерстобита, голос старостихи, она должна была протискаться сквозь густую толпу баб, девок, ребят, мужиков. Хозяйка дома, краснощекая, румяная баба, стояла против дюжего багрового мельника, кланялась ему низменно и упрашивала откусать еще пирожка; она не обращала ровно никакого внимания на то, что стол перед мельником был покрыт грудями съестного; еще менее заботилась старостиха о том, что кусочки лепешек, пирогов и каравая, за неимением другого места, покоились гуськом на коленях именитого гостя; она только кланялась да приговаривала:

– Да пожалуйте, да покорнейше прошу, да откушайце...

На что гость отвечал, отдуваясь, как бык:

– Много довольны... не обессудьте... очень довольны...

– Да пожалуйте, – продолжала хозяйка, – да хоть скушайце кусочек... вы мало чего получаете... из-под себя кусочек выкушайце...

– Много довольны, – отвечал опять тот, – и так передо мной копной-с наворочено...

Когда Фекла объявила во всеуслышание причину своего посещения, в избе поднялся такой страшный шум, что с минуту можно было думать, что она разрушается до основания; в сенях послышалась давка, визг, пискотня... Не успела одуматься хозяйка, как уже изба ее опустела, остался только мельник; благодаря радушному приему один он не в силах был последовать общему примеру.

– Ахти, матушка! – вскричала старостиха, всплеснув руками. – А ведь мужа-то нету дома... Знать, загулял где... постой, я побегу за ним... поди ты, дело-то какое!

Не дожидаясь приготовлений старостихи, Фекла стремглав понеслась домой. Она до того была занята своим делом, что на повороте улицы не заметила двух пьяных мужиков, лежавших в луже поперек дороги, и чуть не шлепнулась через них со всего размаху; услыша неожиданно голос старосты, она подбежала к одному из них и, толкая его, принялась было передавать ему приказание барыни; но тщетны были ее старания; Демьян ничего и

слышать не хотел. Обняв крепко-накрепко свата своего Стегнея, он только лобызал его в бороду, повторяя: «Сенька, Сенька, запой! запой!...», вследствие чего сват раскрывал рот наиболее образным образом, испуская сильный, раздражающий звук, – только то и было.

Видя, что толку не доищешься, Фекла поспешно подобрала подол и продолжала путь. Народ, извещенный случаем, валил на скотный двор со всех сторон и успел уже натискаться в избу вплоть до самых сеничек. Никто, однако ж, из толпы, окружавшей бедняка, не трогался с места; все глядели на него, вылупив глаза, с каким-то притуплённым любопытством, и только глухой ропот пробегал иногда с одного конца избы до другого. Старик лежал по-прежнему на соломе; ему как-будто опять отлегло. Ошеломленный шумом, смотрел он в недоумении на толпу, его окружавшую. Казалось, тяжкое предчувствие того, что должно было случиться, начинало уже мало-помалу забираться в его душу; но когда Фекла, продравшись к нему, потрянула его за руку и сказала: «А что, старик, тебе, кажись, опять легче стало? Вставай!» – все разом про-

яснилось перед ним. Судорожный трепет пробежал по всем его жилам. Он не сказал, однако ж, ни слова. Медленно, с невероятными усилиями приподнялся он с помощью рук на колени, и только раздирающий вздох ответил на шум толпы, поднимавшийся все сильнее и сильнее.

– Постой, дядя, я те помогу привстать-то, – вымолвил наконец дюжий мужик, выступая вперед и пропуская коренастую руку под плечо больного. – Митроха, – примолвил он, толкнув локтем молодого парня, – подсоби! Чего стоишь, рот-то разинул?

Старика поставили кой-как на ноги. Кружок значительно расширился.

– Вот что, старик, – начала Фекла, заглядывая ему пристально в лицо, – ступай-ка ты лучше от нас с богом, мы те проводим, а то пришел ты, господь тебя знает, отколе... неравно еще беда с тобой случится, всем нам хлопот наживешь... ступай, до греха...

– Вестимо, – перебила какая-то близ стоявшая старушка, обращаясь к бобылю, – погляди-ка, касатик, на себя, ведь на тебе лица нет, родимый, того и смотри богу душу отдашь.

– И то, – заметил дюжий мужик, все еще поддерживавший старика, – ишь уже ноги-то как трясутся,, и всего инда дрожь пронимает... ступай-ка лучше от нас до беды... ты померешь, тебе что, а нам от суда-то житья не будет, дело знамое; ишь у те как глаза-то посоловели... ступай, дядя, лучше от нас, пра, ступай...

– Да что вы с ним больно кобянитесь, – слышался чей-то голос, – ведите его, и все тут; чего ждете? небось хотите, чтоб помер да всем беду накликать!...

– Погодите! – закричала Фекла. – Барыня велела ему дать мази на грудь... Старик, где у тебя сума-то? Старик!

– Ась?

– Мешок где?

– А!...

– Здесь, здесь! – закричало несколько голов, и в то же время множество рук протянулось к Фекле с сумою.

– Погодите, – продолжала Фекла, – барыня велела еще положить туда хлеб белый да лекарство; ну, дядюшка, а посудинка где твоя?... Эй, тетки, – крикнула она, – за вами, кажись,

на окне посудинка стоит... Да что вы тискаетесь, черти, словно угорелые, чего не видали? Эки бесстыжие какие!. (При этом Фекла начала угощать подзатыльниками девчонок и мальчишек, карабкавшихся под ее ногами).

– Кажись, все теперь, – прибавила она, торопливо надевая мешок на плечи старика и нахлобучивая ему на глаза шапку. – Ну, теперь господь с тобой, дядюшка!... Ступай от нас!...

Старик медленно поднял костлявые, сухие руки свои к голове и стащил шапку; после этого правая рука его еще медленнее поднялась кверху, и трепещущая, неверная кисть ее прильнула к страдальческому челу, потом к груди и робко сотворила крестное знамение.

Фекла снова помогла ему надеть шапку; тогда дюжий мужик толкнул еще раз Митроху и, приподняв старика под руки, повел его вон из избы. Опустив голову, бедняк безмолвно протащился в сени, преследуемый шумною толпой, которая чуть не сшибла с ног его вожаков, ругавшихся на все бока; но когда его вывели на улицу, когда неумолимый дождь

начал снова колотить его в бока и спину, когда студеные лохмотья рубашки, раздуваемые свирепым ветром, начали хлестать в его изнуренную грудь, старик поднял голову, и помертвелые уста его невнятно прошептали о пощаде; но яростное завывание бури заглушало слова страдальца, и его повлекли прямо к околице.

Вскоре не стало старика в сельце Комкове, и толпа, его провожавшая, снова загуляла на славу; и долго потом громкие крики веселившегося народа раздавались на улице, долго еще слышались во всех ее концах звонкие захватские песни, говор и дружный беспечный хохот, пока наконец глубокая полночь не прогнала хмельных обывателей в теплые избы, на полати и печи. Все понемногу стихло и смолкло. Один лишь свирепый ветер, пробегая по кровлям и заборам, подымал свой пронзительный голос в тишине ночи, да изредка вторило ему с барского двора протяжное завывание Змейки, которую не могли никак отогнать караульщики...

---

На другой день утром Софья Ивановна со-

бралась ехать домой. Невзирая ни на какие убеждения со стороны Марьи Петровны, упрашивавшей Христом-богом соседку погоstitь еще денечек, она осталась непоколебимою в своем намерении. Делать было нечего, велено было рябой Палашке приказать кучеру запрячь каурую кобылу. К полудню старинные дрожки Марьи Петровны бойко подкатили к крыльцу, причем рыжий Степка, сидевший кучером (отец злополучного Фетиски находился еще в расслабленном состоянии после вчерашнего праздника), поглядел на дворовых, столпившихся у застольной, как бы похваляясь перед ними своей удалью. Когда обещанный кулечек с картофелем был привязан белобрысою Палашкой к экипажу, Софья Ивановна, закутанная с головы до ног, стала усаживаться на дрожки, поддерживаемая лакеем Федором, у которого все лицо, от стужи ли, или от чего другого, было покрыто синяками. Марья Петровна, стоявшая с поручицей-приживалкой на крыльце, готовилась уже спуститься вниз, чтобы в последний раз поцеловать дорогую соседку, как в это самое время откуда ни возьмись появился перед

нею староста. На лице Демьяна не было и следа вчерашней гулянки; оно выражало одни лишь тяжкие заботы.

– Что ты, Демьян? – спросила помещица.

– Да к вашей милости, матушка Марья Петровна, – отвечал он с поклоном, – вечер, матушка, приходил сюда хворый мужик, так вы его отослать приказали... Ну, слава богу, сударыня, что отделались мы от него... такую было беду заварил.

– Что такое? – вымолвила с беспокойством старушка.

– Да что, матушка Марья Петровна, сюда приехал на мельницу мужик из Орешкова, сказывал, старика-то, вишь, нашли у них нынче к рассвету, на меже, мертвого... Пошли, говорит, ихние ребята за кольями, а он, сударыня, и лежит подле самой-то межи, в канавке, словно, говорит, живой... подле него мешок, шапка... сказал мужик тот; к ним и становой, вишь, приехал... така-то, говорит, беда завязалась...

Софья Ивановна всплеснула руками и подпрыгнула на дрожках; Марья Петровна прослезилась и подняла очи к небу; одна лишь

поручица прослушала все это с обычным своим хладнокровием.

– Божия мать, святой Сергей-угодник... Ох! – простонала наконец Марья Петровна.

Головка ее тряслась сильнее обыкновенного, и теплые благодарственные слезы текли по иссохшим ее щекам.

– Вот то-то, – произнесла ей соседка, размахивая руками, – теперь небось сами, Марья Петровна, благодарите бога, а вчера, помните ли? и слушать меня не хотели... ну, не предупредила ли я вас, а? а вы еще хотели оставить его у себя... ну да, слава царю небесному, что это дело так благополучно для вас окончилось, очень рада... Прощайте, душенька Марья Петровна, благодарю за хлеб за соль, да к нам в Закуряево скорей приезжайте погадать в карточки... Прощайте!...

И дрожки укатились, унося с собою помещицу, добрую меру картофеля и целый короб новостей, которые Софья Ивановна поспешит сообщить другой своей благодетельнице, куда и приказывает немедля направить путь рыжему Степке.

